

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ
С ГОРЯ



МММ

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР



МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

**ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ
С ГОРЯ**

Стихотворения разных лет



Водолей Publishers
Москва – 2005

ББК 84Р7-5
Э34

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
М. Л. Гаспаров (Россия),
Г. Г. Глинка (США),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
В. А. Синкевич (США),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
Л. С. Флейшман (США)

Составление и послесловие *Евгения Витковского*
Редактор *Владислав Резвый*

ISBN 5-902312-62-0

© Д. А. Эйснер, 2005

© Е. В. Витковский, составление,
послесловие, 2005

© Водoley Publishers, 2005

СТИХОТВОРЕНИЯ

ШИММИ

Под мотив дразнящий, знойный,
Как приход весны,
Люди пляшут беспокойный
Танец сатаны.

В наглой близости объятий
Мечется толпа.
Гордо топчет цепь понятий
Узкая стопа.

Гибнут в дикой пляске зверя
Души и сердца,
Гибнут, в светлое не веря,
Гибнут без конца.

И плывет за парой пара
И за тенью тень...
И в окно сквозь мглу угара
Смотрит новый день.

Скрипки плачут и хохочут,
Ноют и визжат,
Но никто понять не хочет,
Что они кричат.

И под их укор неясный,
Грешного полны,
Люди пляшут танец страшный,
Танец сатаны.

Сараево, декабрь 1923

* * *

Близок к миру час заката.
Дышит мраком ночь.
Но Любви, в веках распятой,
Злу не превозмочь.

Пусть Ее сейчас забыли,
Ликом пустоты
Пусть в безумьи заменили
Чистые черты;

Пусть бессмысленным расчетом
Губят красоту,
В тяжкий миг придут к оплоту,
К строгому кресту.

Лишь бы ты, моя Россия,
Божия страна,
Поняла, зачем в лихие
Руки отдана.

Поняла, зачем заклята
В смертной суете,
И сказала б в час заката
Правду о Христе.

Сараево, сентябрь 1924

* * *

Стихает день, к закату уходящий.
Алеют поле, лес и облака.
По вечерам и горестней, и слаще
Воспоминаний смутная тоска.

Вот так же хлеб стоял тогда в июле,
Но – кто глухую боль души поймет? –
Тогда певучие свистели пули
И такал недалекий пулемет.

И так же теплый ветер плакал в роще,
И тучи низкие бежали до утра,
Но как тогда и радостней и проще
Казалась смерть под громкое «ура».

И как под грохот нашей батареи,
Ложась на мокрую и грязную шинель,
Спокойней засыпал я и скорее,
Чем вот теперь, когда ложусь в постель.

Как было легче перед сном молиться
И, прошептав усталое «аминь»,
Увидеть в снах заплаканные лица
И косы чеховских унылых героинь.

А на заре — почистить голенище
Пучком травы, и снова в строй. Теперь
Моей душе потерянной и нищей
Приятно вспомнить гул приклада в дверь,

Когда, стучась в покинутую хату,
Чтоб отдохнуть и выпить молока,
Ругают громко белые солдаты
Сбежавшего с семьей мужика.

Ах, не вернуть. Ах, не дождаться, видно.
Весь мир теперь — нетопленный вагон.
Ведь и любить теперь, пожалуй, стыдно,
Да как и целоваться без погон!

Ничей платок не повяжу на руку.
И лишь в стихах печальных повторю
Любви к единственной немую муку
И перед боем ветер и зарю.

Прага, 1926

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Чужое небо будет так же ясно,
Когда, себе и мертвым изменив,
Я вдруг пойму, что жил вдали напрасно
От лубочно-прекрасных сел и нив.

И я решу торжественно и просто,
Что мне один остался путь — назад.
Туда, где слышно в тишине погоста
Мычанье возвращающихся стад.

И, бредовой надеждой возрожденный,
Я в день отъезда напишу стихи
О том, что красный Бонапарт — Буденный —
Любимый сын и пашки и сохи.

А из окна вагона, утром рано,
Смотря на уходящие поля,
Скажу сквозь волны мягкие тумана:
Прощай, чужая скучная земля!

И замелькают мимо дни и ночи,
Как за окном местечки и леса,
И вот уже я в трюме, между бочек,
А ветер плещет солью в паруса.

И скажут мне пронырливые греки
— Сегодня будем. Скорость семь узлов. —

Я промолчу. Ведь в каждом человеке
Бывают чувства не для мертвых слов.

Я промолчу. И загремят лебедки,
Раздастся чья-то ругань, беготня...
А вечером в разбитой старой лодке
На темный берег отвезут меня.

И в ясном небе, только что взошедший,
Прозрачный месяц будет проплывать,
А на земле какой-то сумасшедший
Песок и камни, плача, целовать...

Но спин не разогнуть плакучим ивам,
Растоптанным цветам не зацвести, —
И разве можно будет стать счастливым,
Когда полжизни брошу на пути?

Нет. Лишь одним бродягой станет больше.
И я пройду, тоской и счастьем пьян,
Всю родину от Иртыша до Польши,
Сбивая палкой кочки да бурьян.

Мое лицо иссушат дождь и ветер.
Но голос дрогнет, нежен и суров,
Когда прощаться буду, на рассвете
Гостеприимный оставляя кров.

И так вся жизнь: убогая деревня,
Курчавый лес, душистые хлеба,

Обедня в церкви маленькой и древней —
Великолепно строгая судьба!

Но никогда не прекратится пытка —
Суд справедливый совести жесток, —
Случайная почтовая открытка,
В далеком поле поезда свисток

Напомнят мне с неотразимой силой
Иную жизнь в покинутом краю,
Друзей заветы, женский голос милый,
Изгнание и молодость мою.

1926

ДОН-КИХОТ

Нарисованные в небе облака.
Нарисованные на холмах дубы.
У ручья два нарисованных быка
Перед боем грозно наклонили лбы.

В поле пастухами разведен огонь.
Чуть дрожат в тумане крыши дальних сёл.
По дороге выступает тощий конь,
Рядом с ним бежит откормленный осел.

На картинах у испанских мастеров
Я люблю веселых розовых крестьян,

Одинаковых: пасет ли он коров
Иль сидит в таверне, важен, сыт и пьян.

Вот такой же самый лубочный мужик
Завтракает сыром, сидя на осле.
И в седле старинном, сумрачен и дик,
Едет он – последний рыцарь на земле.

На пейзаже этом он смешная быль.
Прикрывает локоть бутафорский щит.
На узорных латах ржавчина и пыль.
Из-под шлема грустно черный ус торчит.

– Что же, ваша милость, не проходит дня
Без жестоких драк, а толку не видать.
Кто же завоюет остров для меня, –
Мне, клянусь Мадонной, надоело ждать! –

– Мир велик и страшен, добрый мой слуга.
По большим дорогам разъезжает зло;
Заливает кровью пашни и луга,
Набивает звонким золотом седло.

Знай же, если наши встретятся пути,
Может быть, я, Санчо, жизнь свою отдам
Для того, чтоб этот бедный мир спасти,
Для прекраснейшей из всех прекрасных дам. –

Зазвенели стремяна из серебра.
Странно дрогнула седеющая бровь...

О, какая безнадежная игра —
Старая игра в безумье и любовь.

А в селе Тобозо, чистя скотный двор,
Толстая крестьянка говорит другой:
— Ах, кума, ведь сумасшедший наш сеньор
До сих пор еще волочится за мной! —

В небе пропылило несколько веков.
Люди так же умирают, любят, лгут;
Но следы несуществующих подков
Россинанта в темных душах берегут.

Потому, что наша жизнь — игра теней,
Что осмеяны герои и сейчас
И что много грубоватых Дульциней
Так же вдохновляет на безумства нас.

Вы, кто сердцем непорочны и чисты,
Вы, кого мечты о подвигах томят, —
В руки копья и картонные щиты!
Слышите, как мельницы шумят?..

Прага, 1927

* * *

В тот страшный год протяжно выли волки
По всей глухой встревоженной стране.
Он шел вперед, в походной треуголке,
Верхом на сером в яблоках коне.

И по кривым ухабистым дорогам,
В сырой прохладе парков и лесов,
Бил барабан нерусскую тревогу,
И гул стоял колес и голосов.

И пели небу трубы золотые,
Что Император скоро победит,
Что над полями сумрачной России
Уже восходит солнце пирамид.

И о короне северной мечтали
Романтики; но было суждено,
Что твердый блеск трехгранной русской стали
Покажет им село Бородино.

Клубился дым московского пожара,
Когда, обняв накрашенных актрис,
Звенели в вальсе шпорами гусары,
Его Величества блюда каприз.

Мороз ударил. Кресла и картины
Горят в кострах, и, вздеты на штыки,

Кипят котлы с похлебкой из конины...
А в селах точат вилы мужики!

Простуженный, закутанный в шинели,
Он поскакал обратно – ждать весны.
И жалобно в пути стонали ели,
И грозно лед трещал Березины...

Порой от деда к внуку переходит,
По деревням, полуистлевший пыж,
С эпическим преданьем о походе,
О том, как русские вошли в Париж.

Ах, всё стирает мокрой губкой время!
Пришла иная страшная пора,
Но не поставить быстро ногу в стремя,
Не кричать до хрипоты «ура».

Глаза потупив, по тропе изгнанья
Бредем мы нищими. Тоскуем и молчим.
И лишь в торжественных воспоминаньях
Вдыхаем прошлого душистый дым.

Но никогда не откажусь от права
Возобновлять в ушах победы звон
И воскрешать падение и славу
В великом имени: Наполеон.

Прага

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Закат осенний тает.
Порывисто в небе пустом
 Бумажный змей летает,
Виляя тяжелым хвостом.
 Внизу дома, и храмы,
И улиц густеющий мрак, —
 Там нитку сжал упрямо
Мальчишеский грязный кулак.
 А в небе ветра трубы,
А в небе высокая цель...
 Но тянет нитка грубо,
И падает змей на панель.

В мучительном усильи,
Срываясь со всех якорей,
 Ломая в тучах крылья,
Душа отлетает горе.
 И падает, как камень.
Считай же мгновенья, пока:
 Закат взмахнет руками,
В глазах поплывут облака,
 Заплачет ветер жидко,
По ржавым бульварам шурша,
 Легко порвется нитка —
 И ты улетишь, душа!

1927

ГЛАВА ИЗ ПОЭМЫ

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты...

А. К. Толстой

Распорядитель ласковый и мудрый
Прервал программу скучную. И вот —
В тумане электричества и пудры
Танго великолепное плывет.

Пока для танцев раздвигают стулья,
Красавицы подкрашивают рты.
Как пчелы, потревоженные в улье,
Гудит толпа, в которой я и ты.

Иду в буфет. Вдыхаю воздух пряный,
И слушаю, как под стеклянный звон
Там декламирует с надрывом пьяный,
Что он к трактирной стойке пригвожден.

Кричат вокруг пылающие лица.
И вдруг решаю быстро, как в бреду:
Скажу ей всё. Довольно сердцу биться
И трепетать на холостом ходу!

А в зале, вместо томного напева,
Уже веселый грохот, стук и стон —
Танцуют наши северные девы
Привезенный с бананами чарльстон.

И вижу: свет костра на влажных травах,
И хижины, и черные тела —

В бесстыдной пляске — девушек лукавых,
Опасных, как зулусская стрела;

На копья опираясь, скалят зубы
Воинственные парни, а в лесу
Сближаются растянутые губы
Влюбленных с амулетами в носу...

Но в этот мир таинственный и дикий,
В мир, где царят Майн-Рид и Гумилев,
Где правят людоедами владыки
На тронах из гниющих черепов,

Ворвался с шумом, по-иному знойный,
Реальный мир, постылый и родной,
Такой неприхотливый и нестройный,
Такой обыкновенный и земной!

И я увидел: шелковые платья,
И наготу девических колен,
И грубовато-близкие объятия —
Весь этот заурядный плоти плен.

И ты прошла, как все, ему подвластна.
Был твой партнер ничтожен и высок.
Смотрела ты бессмысленно и страстно,
Как я давно уже смотреть не мог.

И дергались фигуры из картона:
Проборы и телесные чулки,
Под флейту негритянскую чарльстона,
Под дудочку веселья и тоски...

Вот стихла музыка. И стало странно,
Неловко двигаться, шутить, шуметь.

Прошла минута, две. И вдруг, неожиданно
Забывтым вальсом зазвенела медь.

И к берегам, покинутым навеки,
Поплыли все, певучи и легки;
Кружились даже, слабо щуря веки,
На согнутых коленях старики.

Я зал прошел скользящими шагами,
Склонился сзади к твоему плечу, —
Надеюсь, первый вальс сегодня с вами? —
И вот с тобою в прошлое лечу.

Жеманных прадедов я вижу тени.
(Воображение — моя тюрьма.)
Сквозь платье чувствую твои колени,
Молчу и медленно схожу с ума.

Любовь цветов благоухает чудно,
Любовь у птиц — любовь у птиц поет,
А нам любить мучительно и трудно:
Загустевает наша кровь, как мед.

И сердцу биться этой кровью больно.
Тогда, себя пытаясь обокрасть,
Подмениваем мы любовь невольно,
И тело телу скупно дарит страсть.

Моя душа не знает разделений.
И, слыша шум ее певучих крыл
(Сквозь платье чувствуя твои колени),
Я о любви с тобой заговорил.

И мертвые слова затрепетали,
И в каждом слове вспыхнула звезда

Над тихим морем сдержанной печали, —
О, я совсем сошел с ума тогда!

Твое лицо немного побледнело,
И задрожала смуглая рука.

Но ты взглянула холодно и смело.

Душа, душа, ты на земле пока!

Пускай тебе и горестно и тесно,
Но, если скоро всё здесь будет прах,
Земную девушку не нужно звать небесной,
Не нужно говорить с ней о мирах.

Слепое тело лучше знает землю:
Равны и пища, и любовь, и сон.

О, слишком поздно трезво я приемлю,
Земля, твой лаконический закон...

Тогда же, вдруг, я понял, цепenea,
Что расплескал у этих детских ног
Всё то, чем для Тобозской Дульцинеи
Сам Дон-Кихот пожертвовать не мог.

Всё понял, остро напрягая силы,
Вот так, как будто сяду за сонет, —
И мне уже совсем не нужно было
Коротенькое, глупенькое «нет».

Прага

КОННИЦА

Толпа подавит вздох глубокий,
И оборвется женский плач,
Когда, надув свирепо щеки,
Поход сыграет штаб-трубач.

Легко вонзятся в небо пики.
Чуть заскрежещут стремяна.
И кто-то двинет жестом диким
Твои, Россия, племена.

И воздух станет пьян и болен,
Глотая жадно шум знамен,
И гром московских колоколен,
И храп коней, и сабель звон.

И день весенний будет страшен,
И больно будет пыль вдыхать...
И долго вслед с кремлевских башен
Им будут шапками махать.

Но вот леса, поля и села.
Довольный рев мужицких толп.
Свистя, сверкнул палаш тяжелый,
И рухнул пограничный столб.

Земля дрожит. Клубятся тучи.
Поет сигнал. Плывут полки.

И польский ветер треплет круче
Малиновые башлыки.

А из России самолеты
Орлиный клекот завели.
Как птицы, щурятся пилоты,
Впиваясь пальцами в рули.

Надменный лях коня седлает,
Спешит навстречу гордый лях.
Но поздно. Лишь собаки лают
В сожженных, мертвых деревнях.

Греми, суворовская слава!
Глухая жалость, замолчи...
Несет привычная Варшава
На черном бархате ключи.

И ночь пришла в огне и плаче.
Ожесточенные бойцы,
Смеясь, насилуют полячек,
Громят костелы и дворцы.

А бледным утром — в стремя снова.
Уж конь напоен, сыт и чист.
И снова нежно и сурово
Зовет в далекий путь горнист.

И долго будет Польша в страхе,
И долго будет петь труба, —

Но вот уже в крови и прахе
Лежат немецкие хлеба.

Не в первый раз пылают храмы
Угрюмой, сумрачной земли,
Не в первый раз Берлин упрямый
Чеканит русские рубли.

На пустырях растет крапива
Из человеческих костей.
И варвары баварским пивом
Усталых поят лошадей.

И пусть покой солдатам снится, —
Рожок звенит: на бой, на бой!..
И на французские границы
Полки уводит за собой.

Опять, опять взлетают шашки,
Труба рокочет по рядам,
И скачут красные фуражки
По разоренным городам.

Вольнолюбивые крестьяне
Еще стреляли в спину с крыш,
Когда в предутреннем тумане
Перед разъездом встал Париж.

Когда ж туман поднялся выше,
Сквозь шорох шин и вой гудков,

Париж встревоженно услышал
Однообразный цок подков.

Ревут моторы в небе ярком.
В пустых кварталах стынет суп.
И вот под Триумфальной аркой
Раздался медный грохот труб.

С балконов жадно дети смотрят.
В церквах трещат пуды свечей.
Всё громче марш. И справа по три
Прошла команда трубачей.

И крик взорвал толпу густую,
И покачнулся старый мир, —
Проехал, шашкой салютуя,
Седой и грозный командир.

Плывут багровые знамена.
Грохочут бубны. Кони ржут.
Летят цветы. И эскадроны
За эскадронами идут.

Они и в зной, и в непогоду,
Телами засыпая рвы,
Несли железную свободу
Из белокаменной Москвы.

Проходят серые колонны,
Алеют звезды шишаков.

И вьются желтые драконы
Манджурских бешеных полков.

И в искушенных парижанках
Кровь закипает, как вино,
От пулеметов на тачанках,
От глаз кудлатого Махно.

И, пыль и ветер поднимая,
Прошли задорные полки.
Дрожат дома. Торцы ломая,
Хрипя, ползут броневики.

Пал синий вечер на бульвары.
Еще звучат команд слова.
Уж поскакали кашевары
В Булонский лес рубить дрова.

А в упоительном Версале
Журчанье шпор, чужой язык.
В камине на бараньем сале
Чадит на шомполах шашлык.

На площадях костры бушуют.
С веселым гиком казаки
По тротуарам джигитуют,
Стреляют на скаку в платки.

А в ресторанах гам и лужи.
И девушки сквозь винный пар

О смерти молят в неуклюжих
Руках киргизов и татар.

Гудят высокие соборы,
В них кони фыркают во тьму,
Черкесы вспоминают горы,
Грустят по дому своему.

Стучит обозная повозка.
В прозрачном Лувре свет и крик.
Перед Венерою Милосской
Застыл загадочный калмык...

Очнись, блаженная Европа,
Страхни покой с красивых век, —
Страшнее труса и потопа
Далекой Азии набег.

Ее поднимет страсть и воля,
Зарей простуженный горнист,
Дымок костра в росистом поле
И занесенной сабли свист.

Не забывай о том походе.
Пускай минуло много лет,
Еще в каком-нибудь комодe
Хранишь ты русский эполет...

Но ты не веришь. Ты спокойно
Струишь пустой и легкий век.

Услышишь скоро гул нестройный
И скрип немазаных телег.

Молитесь, толстые прелаты,
Мадонне розовой своей.
Молитесь! — Русские солдаты
Уже седлают лошадей.

Прага, 1928

ЦИРК

Николаю Артемьевичу Еленеву

В дыму одичалых окраин,
Среди пустырей и полян —
Видение детского рая —
Огромный стоит балаган.

Потомок глухой Колизея!
Мы вежливо мимо пройдем.
Но жадно мальчишки глазеют,
Проткнув парусину гвоздем.

И так под заплатанной крышей
Оркестра гудят голоса,
Такие на пестрой афише
Заманчивые чудеса,

И люди в линиялых ливреях
У входа так важно вросли,
Что, бросив окурки скорее,
Мы не устояли — вошли.

Плюются тромбоны по нотам,
И скрипки дрожит голосок.
И тленьем, навозом и потом
Утоптаный пахнет песок.

Так где-нибудь в чаще во мраке
Звериная пахнет нора...
А кто-то в малиновом фраке
Выкрикивает номера.

На розовом круглом колене
Наездница, хрипло крича,
Порхает по мягкой арене
Под выстрелы злые бича.

Приказчиков чувства волнуя,
Пустую улыбку храня,
Воздушные шлет поцелуи
С широкого крупа коня.

Растет в нас тревога глухая,
И странно сердца смущены,
Когда, допотопно вздыхая,
Прессуют опилки слоны.

Танцуют веселые кони,
Ломают себя акробат.
И публика плещет в ладони.
И клоунов щеки звенят.

Кровавые римские игры,
Всё так же пленяете вы.
Взвиваются легкие тигры.
Ревут золотистые львы.

А скрипка по-прежнему плачет.
И вот высоко-высоко
По скользким трапециям скачет
Красавица в черном трико.

И музыка в ужасе тает.
И, сделав решительный жест,
Красивое тело взлетает
На тонкий согнувшийся шест

И там выпрямляется гордо.
Дрожит и качается жердь...
С тупой размалеванной мордой
Под куполом носится смерть.

И звезды сияют сквозь дырки.
Мы смотрим наверх, не дыша.
И вдруг — в ослепительном цирке
Моя очутилась душа.

В нем ладаном пахнет, как в храме,
В нем золотом блещет песок,
И – сидя на тучах – мирами
Румяный жонглирует Бог.

Летают планеты и луны,
Лохматые солнца плывут.
И бледные ангелы струны
На арфах расстроенных рвут.

Бесплатно апостолы в митрах
Пускают умерших в чертог.
Смеется беззвучно и хитро
Небесный бесплотный раек...

А здесь – на земле – мы выходим.
К трамваю бредем не спеша.
Зевнув, говорим о погоде.
И медленно стынет душа.

Бог изредка звезды роняет.
Крылатый свистит хулиган...
И темная ночь обнимает
Огромный пустой балаган.

Прага, 1928

РАЗЛУКА

Летят скворцы в чужие страны.
Кружится мир цветущий наш...
Обклеенные чемоданы
Сдают носильщики в багаж.

И на вокзалах воздух плотный
Свистки тревожные сверлят.
И — как у птицы перелетной —
У путников застывший взгляд.

И мы прощаемся, мы плачем,
Мы обрываем разговор...
А над путями глаз кошачий
Уже прищурил семафор.

Уже взмахнул зеленым флагом
В фуражке алой бритый бог...
И лишь почтовая бумага
Теперь хранит следы тревог.

И в запечатанном конверте
Через поселки и поля
Несут слова любви и смерти
Размазанные штемпеля.

И мы над ними вспоминаем
Весенний вечер, пыльный сад...

И под земным убогим раем —
Великолепный видим ад.

1928

БЕСЧУВСТВИЕ

Как ротозеи по дворцам,
Где спит бессильное искусство,
По гуттаперчевым сердцам
Бредут изношенные чувства.

В коробках каменных своих,
В кинематографе, в трамвае
Мы переживаем их,
Лениво их переживаем.

В нас цепенеет дряблый страх,
В нас тщетно молодится вера...
Так мох цветет в глухих горах
Колючий, высохший и серый.

Не покраснев, не побледнев,
Мы всё простим, оставим втуне,
И никогда плешивый гнев
Ножа нам в руки не подсунет.

И кто под строгим пиджаком
Хоть призрак жалости отыщет,
Когда сияющим грошом
Мы откупаемся от нищих.

А пресловутый жар в крови
Мы охлаждаем на постелях

И от морщинистой любви
В убогих корчимся отелях.

И только ветхая печаль
Нам души разрывает стоном,
Как ночью уходящий вдаль
Фонарь последнего вагона...

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Фабричный дым и розовая мгла
На мокрых крышах дремлет ровно.

И протестантские колокола
Позванивают хладнокровно.

А в церкви накрахмаленный старик
Поет и воздевает руки.

И сонный город хмурит постный лик,
И небо морщится от скуки.

В унылых аккуратных кабачках
Мещане пьют густое пиво.

Но кровь, как пена желтая, в сердцах
Всё так же движется лениво.

Хрипит шарманка, праздностью дыша.
Ей вторит нищий дикой песней...

О бедная! о мертвая душа!
Попробуй-ка — воскресни...

ИЗ ПОЭМЫ «СУД»

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, *таким* будете судимы; и какою мерою мерите, *такою* и вам будут мерить.

Матфей: 7, 1-2

Часть первая

1

В газетном отчете всё пропустили...

Гасли угли зари.

По темной дороге ночь покатали

Шины и фонари.

С холодного неба трепетно били

Тучи блестящих пуль.

Ты, скорчившись, мчался в автомобиле,

Сжав танцующий руль.

Ревели колеса крепче и крепче —

Выл под ними весь мир.

Ты слушал, как сзади дышит и шепчет

Мертвый твой пассажир.

Затылок и спину даже сквозь шторы

Жгли пустые глаза.

Но вот и обрыв. Затихли моторы.

Взвизгнули тормоза.

Ты верной рукой зажег папиросу,

Лег на кузов плечом.

Скрипя, поползла машина к откосу.
Грянул в пропасти гром.
И облако сразу звезды задуло.
Стихло эхо. Ни зги.
Лишь ветер наводит черное дуло
На твои шаги...

2

Матросы грустную песню пели.
Пыхтел табаком трактир.
Ты пил четвертую пинту эля
И резал голландский сыр.
Как гончие, в небесах бежали
Недели. Но таял след,
Хоть в каждой ратуше и держали
Расплывшийся твой портрет.
Острил кабатчик. Стучали двери.
И карты сдавал галдеж.
Сейчас вернется красотка Мери,
И с нею ты спать пойдешь.
И все тревоги забудешь с нею.
Она тебе сварит чай.
А рано утром ты ей гиную
Подаришь, сказав: «Прощай.
Я этой ночью уже в Париже.
Полгода меня не жди...»
Но что с ней входит за шкипер рыжий
С медалями на груди?

Огнем горит на лице сожженном
Пушистая борода.
Лепечет Мери: «Я вижу Джона...
Пожалуйста, сэр, сюда...»
Она садится. Блестит колено,
Заштопанное кружком.
А ты, как следует джентльмену,
Знакомишься с моряком.
«О, из Бомбея до нас не близко...»
Порхают в дыму слова.
И ты стаканами глушишь виски,
И кружится голова.
Растут, качаясь, из трубки стебли —
Лиловый тюльпан расцвел...
Плывут в тумане густом констебли —
Под ними волнами пол.
Бегут. А шкипер встает устало:
«Он пьян совсем, господа...»
Кружась, на стол залитый упала
Привязанная борода.

3

Над морем голов колыхаются важно
Белые парики.
На плюшевых стульях двенадцать присяжных —
Лорды и мясники.
Небритый, глаза помутнели от муки, —
Ты затравленный волк.

Теперь ты попался в умытые руки
Исполнявших свой долг.
Их лица — как лики святых на иконах,
Речи их — как псалмы. —
Но странно подобны их своды законов
Темным сводам тюрьмы.
Один, как в концерте, с улыбкой невинной
Пальцем стучает в такт,
Пока оглашают убийственно длинный
Обвинительный акт.
Другой притворяется и лицемерит,
Строго щурится вниз;
Он молод и есть у него своя Мери —
Очень юная мисс.
А сам председатель поэмами Шелли
Занят. Скучно судье, —
Он знает, тебя ожидают качели,
По такой-то статье.
И пусть развивает бульварную повесть
Высохший прокурор.
Но только твоя не смущается совесть, —
Ты убийца и вор.
Ты запахи знаешь железа и крови,
Смерть тебе не страшна.
И вот произносит, не дрогнув: «Виновен», —
Розовый старшина.
Присяжных ждут дома веселые дети,
Ужин, туфли, камин...
«Именем...» — в черном берете —
Милорд-председатель... Аминь.

Утро дохнуло хладно и робко,
В парках крики грачей.
Штопоры дыма вынули пробки
Из дремавших печей.
Ветер над Темзой простыни ночи
Разрывает в клочки.
Тлеют в руках идущих рабочих
Сигарет огоньки.
Солнце в тоске об острые крыши
Раздробило кулак.
Там, над тюрьмою реет и пышет
Черный бархатный флаг.
Пусть золотыми стали решетки
И согнуть их легко,
Он полыхает, мрачный и четкий,
Высоко, высоко.
Траурный парус в розовом море.
Гаснут солнца лучи...
А в недоступном им коридоре
Зазвенели ключи.
Виселица готова для вора
За тюремным двором.
В камеру вносит сторбленный сторож
Сытный завтрак и ром.
Мухи доели соус на блюде,
Жир застыл на ноже...
И пред тобою бледные люди
Дверь раскрыли уже.

Старенький пастор пухлой рукою
Крест тебе протянул.
Джон, ты выходишь, Джон, ты спокоен,
Ты на небо взглянул.
Быстро несет взволнованный ветер
Круглые облака...
Как хорошо живется на свете, —
Ты сваял дурака!
Что ж, закури. Четыре ступени —
Вся дорога к петле...
От облаков лохматые тени
Проползли по земле...
Ты окурок отбросил неловко.
Взвыли глотки фабричных труб...
В намыленной веревке
Оскалил зубы труп.

5

Грубый гроб. Погребальные дроги.
Двор тюремный толпой окружен.
Ты уже не собьешься с дороги...
До свидания, Джон!

* * *

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

Человек начинается с горя. Смотри,
Задышаются в нем парниковые розы.
А с далеких путей в ожиданьи зари
О разлуке ревут по ночам паровозы.

Человек начинается... Нет. Подожди.
Никакие слова ничему не помогут.
За окном тяжело зашумели дожди.
Ты, как птица к полету, готова в дорогу.

А в лесу расплываются наши следы,
Расплываются в памяти бледные страсти —
Эти бедные бури в стакане воды.
И опять разрывается сердце на части.

Человек начинается... Кратко. С плеча.
До свиданья. Довольно. Огромная точка.
Небо, ветер и море. И чайки кричат.
И с кормы кто-то жалобно машет платочком.

Уплывай. Только черного дыма круги.
Расстоянье уже измеряется веком.

Разноцветное счастье свое береги, —
Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком.

Зазвенит и рассыплется мир голубой,
Белоснежное горло как голубь застонет,
И полярная ночь проплывет над тобой,
И подушка в слезах, как Титаник, потонет...

Но уже, погружаясь в арктический лед,
Навсегда холодеют горячие руки.
И дубовый отчаливает пароход
И, качаясь, уходит на полюс разлуки.

Вьется мокрый платочек, и пенится след,
Как тогда... Но я вижу, ты всё позабыла.
Через тысячи верст и на тысячи лет
Безнадежно и жалко бряцает кадило.

Вот и всё. Только темные слухи про рай...
Равнодушно шумит Средиземное море.
Потемнело. Ну что ж. Уплывай. Умирай.
Человек начинается с горя.

МОЛЧАНИЕ

Всё это было. Так же реки
От крови ржавые текли, —
Но молча умирали греки
За честь классической земли.

О нашей молодой печали
Мы слишком много говорим, —
Как гордо римляне молчали,
Когда великий рухнул Рим.

Очаг истории задымлен,
Но путь ее — железный круг.
Искусство греков, войны римлян
И мы — дела всё тех же рук.

Пусть. Вечной славы обещанье
В словах: Афины, Рим, Москва...
Молчи, — примятая трава
Под колесом лежит в молчаньи.

* * *

Корабли уплывают в чужие края.
Тарахтят поезда. Разлетаются птицы.
Возвращается ветер на круги своя,
Выставляется весь реквизит репетиций.

Вынимается всякий заржавленный хлам,
Всё, что, тлея, лежит в театральном утиле.
Разрывается с треском душа пополам,
Соблюдая проформы канонов и стилей.

И опять при двойном повышении цен
Я порою всё тот же — не хуже Хмелева —

И в классическом пафосе набранных сцен
Повторяется всё до последнего слова.

Повторяется музыка старых стихов.
Повторяется книга и слезы над нею.
В загорелых руках молодых пастухов,
Повторяясь, кричит от любви Дульцинея.

Повторяется скука законченных фраз.
Повторяется мука троянского плена.
И, забыв Илиаду, в стотысячный раз
Под гитару поет и смеется Елена...

Это было уже до тебя, до меня —
И ненужная нежность моя и...

Короче,

Мне не страшен ни холод бесцельного дня,
Ни большие бессонные белые ночи.

Я допью эту горечь глотками до дна
И забуду улыбку твою, дорогая...
Но когда ты останешься в мире одна,
Это будет как только ты станешь другая, —

Ты поймешь, ты увидишь, ты вскрикнешь тогда.
Ты оплачешь наивную грубость разлуки.
Через годы, пространства и города
Ты невольно протянешь покорные руки.

Повторяется всё, даже прелесть твоя,
Повторяется всё без изъятия на свете.
Возвращается ветер на круги своя...
Я – не ветер!

1-5 июня 1946, п. Рудный

ЖЕМЧУЖИНА

Охрипший Гамлет стонет на подмостках.
Слезами Федра размывает грим.
Мы мучаемся громко и громоздко,
О страсти и о смерти говорим.

Мы надеваем тоги и котурны,
Мы трагедийный меряем парик.
Но прерывает слог литературный
Бессмысленный и безнадежный крик.

Весь мир кричит. Мычат быки на бойне
И отпевают счастье соловьи.
И всё пронзительней и беспокойней
Кричат глаза глубокие твои.

Весь мир кричит. Орет матрос со шхуны.
Как барабан, гремит прибой в гранит.
Но устрица на тихом дне лагуны
Дремучее молчание хранит.

Она не стонет, не ломает руки,
В соленом синем сумраке, внизу,
Она свои кристаллизует муки
В овальную жемчужную слезу.

И я лежу, как устрица, на самом
Холодном, темном и пустынном дне.
Большая жизнь полощет парусами
И плавно проплывает в вышине.

Большая жизнь уходит без возврата...
Спокойствие. Не думай. Не дыши.
И плотно створки раковины сжаты
Над плоским телом дремлющей души.

Но ты вошла, ничтожная песчинка,
Вонзилась в летаргический покой,
Как шпага в грудь во время поединка,
Направленная опытной рукой.

Подобной жгучей и колючей болью
Терзает рак больничную кровать...
Какой дурак посмеет мне любовью
Вот эту вивисекцию назвать!..

Кромешной ночью и прозрачным утром,
Среди подводной допотопной мглы,
Я розовым и нежным перламутром
Твои смягчаю острые углы.

Я не жалею блеска золотого,
Почти иконописного труда,
И вот уже жемчужина готова,
Как круглая и яркая звезда.

Сияешь ты невыразимым светом
И в Млечный Путь уходишь. Уходи.
На все слова я налагаю вето,
На все слова, что у меня в груди.

В таких словах и львиный голос Лиры,
И тот сорвется, запищит, как чиж...
Ты в волосатых пальцах ювелира,
Ты в чем-то галстукe уже торчишь.

Я, думаешь, ревную? Что ты, что ты,
Ни капельки, совсем наоборот:
Пускай юнец пустой и желторотый
Целует жадно твой карминный рот.

Пускай ломает ласковые пальцы.
Ты погибаешь по своей вине,
Ведь жемчуг — это углекислый кальций,
Он тает в кислом молодом вине.

Так растворяйся до конца, исчезни
Без вздохов, декламации и драм.
От экзотической моей болезни
Остался только незаживший шрам.

Он заживет. И всё на свете минет.
Порвутся струны и заглохнет медь.
Но в пыльной раковине на камине
Я буду глухо о тебе шуметь.

Воркута. Июль 1946 г.

* * *

Было всё. На всяческие вкусы
И под всякий аккомпанемент.
Рассыпались шпильки или бусы
В самый патетический момент.

Было всё. Испытанные трюки,
Необыкновенные слова.
Крыльями раскидывались руки,
Запрокидывалась голова.

Было всяко. Было и до хруста
Всех костей, и вздохи на луну.
Было по Шекспиру и по Прусту,
Было даже по Карамзину.

Были соловьи и кастаньеты,
Постоянный пафос перемен,
Губы Джиоконды, плащ Джульетты,
Ноги загорелые Кармен...

Воркута, ок. 1946 г.

ПРОЩАНИЕ

Прощайте, прощайте!.. Беснуется пес на цепи
И фыркают кони. Ворота распахнуты. Трогай.
Цыганскую песню поет колокольчик в степи.
Как в старом романсе, пылит столбовая дорога.

Прощайте, прощайте!.. Последний сверлящий
свисток.
На грязном перроне отчаянно машут платками.
И поезд, качаясь, уходит на Дальний Восток,
Печально стуча по мостам на Оке и на Каме.

Прощайте!.. Исчезли уже берега за кормой.
Над реями трепетно реют красивые флаги.
Прощайте!.. Никто никогда не вернется домой
Из чайных Шанхая, из шумных притонов Малаги.

Гремя, как поднос, опрокинулся аэродром,
И Бахом рыдает орган ураганного ветра.
Прощайте!.. Вопрос о прощаньи поставлен
ребром:
Разлука на скорости до пятисот километров...

Я столько оставил в Париже, в Мадриде, в Москве,
Я в разных подъездах такие давал обещанья,
Я с жизнью прощался на выжженной солнцем траве,
Так что для меня и привычней и проще прощанья!

Прощай, дорогая. Бессмысленно смейся. Живи,
Покорно в растаяв в лубки неуклюжего быта.
Немного горюй о потерянной этой любви,
Как в детстве своем горевала над куклой
разбитой.

А если я встречу с тобой и на прежних правах
О прежней любви захочу говорить по привычке, —
Не слушай. Кто знает, что будет заметней в словах:
Большая любовь или очень большие кавычки.

Прощай же. Без ветра, без моря, без рельс,
без дорог
И даже без слез. Но в стихах этих горьких
и строгих
Я громкую гордость бросаю тебе на порог...
Всегда спотыкайся теперь на пороге!

*Воркута, 1948**

* В машинописи рукой автора изменена авторская дата: «Июнь, 1946 г. ?» — *Прим. ред.*

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ИСПАНСКОГО

ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА
(1898–1936)

ПОТЕМКИ МОЕЙ ДУШИ

Потемки моей души
отступают перед зарею азбук,
перед туманом книг
и сказанных слов.

Потемки моей души!

Я пришел к черте, за которой
прекращается ностальгия,
за которой слезы становятся
белоснежными, как алебастр.

(Потемки моей души!)

Завершается
пряжа скорби,
но остаются разум и сущность

отходящего полудня губ моих,
отходящего полудня
взоров.

Непонятная путаница
закоптившихся звезд
расставляет сети моим
почти увядшим иллюзиям.

Потемки моей души!

Галлюцинации
искажают зрение мне,
и даже слово «любовь»
потеряло смысл.

Соловей мой,
соловей!
Ты еще поешь?

НЕДОМОГАНИЕ И НОЧЬ

Щур
в деревьях темных.
Ночь. Бормотанье неба
и лепет ветра.

Объясняют трое пьяниц
в нелепом танце траур и вино,

и звезды оловянные кружатся
на своей оси.

Щур
в деревьях темных.

Боль в висках приглушена
гирляндами минут.

Ты всё молчишь. А трое пьяных
по-прежнему горланят.

Простегивает гладкий шелк
твоя простая песня.

Щур.
Чур, чур, чур, чур.
Щур.

ЛУИС ЛЬОРЕНС ТОРРЕС
(1878–1944)

К ПУЭРТО-РИКО

Америка была твоей. Была твоей в магической
короне
индейского властителя Агуэйбаны,
который тайну ночи, скрывает в веках, хранил
на троне
и вдруг растаял в солнечном луче однажды утром
рано.

И Африка была твоей. Была твоей в рабах
покорных,
возделывавших земли белых новоселов.
Испания так жарко целовала черных,
что превратила их в креолов.

Тем более твоей была Испания. Она усталыми
руками,
как мать, — пусть время с ней тебя и разлучило, —
блестящий, словно драгоценный камень,
и порт и город Сан-Хуан тебе вручила.

А янки рослый, с инфантильной психологией, —
как с ним?
Он не был никогда и никогда не будет он твоим.

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН
(1905–1974)

ПОТЕРЯННАЯ ДИВИЗИЯ

Под френчем и портупеей горячее сердце скрыто.
Грязь на солдатских ботинках и грязь на руках,
лицо бойца очень давно не брито,
но улыбается взгляд, устремленный в века.

Горное пастбище, крыша, очаг и кастрюли,
был он погонщиком мулов... Эти дни отошли.
Всё отрезал огонь артиллерии, выбили пули,
заслонили запахи пороха, стали, жженой земли.

Лживый монах, вороватый хозяин трактира,
безотказные женщины, пьяный цирюльник,
разносчик с лотком,
повивальная бабка: таким было прошлое мира,
и палящее солнце глотало его единым глотком.

О зима, о луна, о фонтан, о жареные каштаны,
о взлелеянный, взрытый, прополотый огород —
всё погибло: и дом, и пинии, и платаны, —
размышляет солдат и жесткую бороду трет.

И в холодном ущелье под бьющимся по ветру
флагом
он с другими лежит, подавляя естественный страх,

в дождь и в снег, а рядом вкрадчивым шагом
смерть проходит, и гром грохочет в горах.

И военная слава озаряет их головы светом,
и земля открывает им тайну свою и времен
поворот,
а когда наконец завершится, когда завершится
всё это,
растворится дивизия в почве, но и тогда не умрет.

ЭПИТАФИЯ ПЕРВОМУ УБИТОМУ ВОЛОНТЕРУ

Забвение тебе посмертная награда,
фамилию твою потомство не хранит,
вокруг могилы не стоит ограда,
не высится над ней ни бронза, ни гранит.
Но древняя земля тебе безмерно рада
и бережет тебя надежней пирамид,
хоть фантастичнее пейзажей ада
ее развалин и воронок вид.

Давайте отольем медаль забвенья
в честь первого убитого в сраженье.
Ни имени его не зная, ни лица,
я предлагаю выбить на медали
фамилию родного мертвеца
(ведь все мы по кому-нибудь рыдали).

ЛИБЕР ФАЛЬКО
(1906–1955)

БИОГРАФИЯ

Я родился в Хасинто-Вера.
Что за место Хасинто-Вера.
Все постройки — одна манера —
сверху жечь, а внутри фанера.
Ночью белая бежала,
белая бежала луна,
а за нею — я. Но она
внезапно вдруг исчезала,
потом опять дрожала,
над постройками — одна манера —
сверху жечь, а внутри фанера.

Ах луна, луна, как химера,
луна над Хасинто-Вера.

РАССТОЯНИЕ УЖЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ВЕКОМ...

Эйснер ничего не напишет, потому что сначала все расскажет.

Марина Цветаева
(*Запись со слов Алексея Эйснера*)

Оно и впрямь измеряется веком. Как пишет Алексей Владимирович в автобиографии: «Я родился 5/18 октября 1905 года в Петербурге. Отец мой Владимир Владимирович Эйснер, внук переселившегося в Россию в 1810 году австрийского врача Иоганна-Христиана Эйснера (приходившего, как было отмечено в его гейдельбергском дипломе, из «Богемии»), долгие годы занимал пост киевского губернского архитектора; мать, донская казачка, Надежда Николаевна Родионова, была дочерью черниговского губернатора». Это цитата из автобиографии Эйснера, написанной по просьбе Института языков и литератур Чехословацкой Академии наук (полный текст не сохранился). Короче говоря, первая книга некогда прославленного — по крайней мере, в среде русской эмиграции — поэта выходит в Москве как раз к его столетию.

Биография этого удивительного человека и поэта известна в мельчайших подробностях, но всегда лишь в связи с кем-то другим: Мариной Цветаевой, Хемингуэем, Мате Залкой и т. д. Его стихи входили в большинство антологий сперва эмигрантской, а с 1990-х годов и просто русской поэзии, их знали наизусть тысячи людей, но книги стихотворений он не издал никогда. Не только не издал, но и издавать не собирался. Когда в конце 1977 года я отыс-

кал общих знакомых, позвонил ему и напросился в гости, то с порога хозяин дома заявил мне: «Зачем вы этим всем занимаетесь? Это всё равно никогда никому не будет нужно, издавать этого никто не будет!» Правда, уже следующая фраза (без паузы) антонимически дополняла первую: «А если уж занимаетесь, то почему мной? Если вас интересует русская литературная Прага, то Вячеслав Лебедев был гораздо талантливее меня, его просто необходимо собрать и издать!..» Я только и успел признаться, что фамилию эту слышу первый раз, а хозяин уже провел меня в гостиную, запихнул в кресло — и выстрелил получасовым монологом о том, какое значительное явление представлял собою его друг пражских лет Вячеслав Лебедев, автор сборника «Звездный крен», так и не уехавший из Праги до самой смерти в 1969 году, и так далее, и так далее. К концу монолога я понял, что Лебедевым мне тоже придется заниматься — и пришлось ведь!.. В финале Эйснер прочитал пять или шесть стихотворений Лебедева, и я стал бояться, что так и уйду, ни слова о самом Эйснере не узнав. Пришел-то я к нему только как к поэту.

Хозяин всё рассказал про Лебедева, что мог, — мне-то оставалось только кивать, — и задал вопрос: «Так что вы все-таки хотите со всем этим делать?..»

С чем? Я уже знал, что после шестнадцати лет тюрем, лагерей и ссылок архива у Эйснера, особенно архива эмигрантских времен, нет и быть не может. Я закрыл глаза и стал читать Эйснеру — Эйснера, поскольку «Конницу» и «Надвигается осень...» в те времена мог прочесть на память без ошибок. Хозяин молчал и слушал. Только на знаменитом «И поскакали кашевары в Булонский лес рубить дрова» вздрогнул: «Уж поскакали кашевары... Хотя ругали меня за этого «ужа»...»

Словом, дочитал я, что мог, а потом сообщил хозяину, что эти стихи ходят в самиздате и приписываются самым

разным авторам (что чистая правда: например, А. Межи-ров в присутствии нескольких писателей в Переделкине году эдак в 1972 цитировал «Конницу» и говорил, что это... Иван Елагин; Слуцкий, впрочем, смеялся и говорил, что это Эйснер). И хозяина проняло. Он зло расхохотался.

— То есть как приписываются? Это мои стихи! Мои, они были напечатаны... Подождите, они были напечатаны... Где они были напечатаны?... — и убежал в другую комнату. Надолго.

Вернулся почему-то с одной страницей в руках. Не с вырезкой, с машинописью.

— У меня, к сожалению, ничего не осталось от моих стихов, только кое-что потом написанное, в лагере... Вот, давайте я вам прочту.

И прочел стихотворение, позже названное «Жемчужина». На обороте нашлось еще одно, короткое — «Было всё. На всяческие вкусы...». Получалось, что кроме двух, имевшихся у меня, двух, написанных в лагере, и еще одного («Дон-Кихот»), которое Эйснер мог вспомнить, ни у меня, ни у автора никаких его стихов нет.

Эйснер расстроился, но тут же вернулся к началу: «Я же говорил, что ничего не выйдет! Пропало — так пропало, и нечего вспоминать...»

Я к этому времени был уже третий калач и вытащил из своей папки весьма подробную библиографию, частично основанную на данных указателя Людмилы Фостер, к тому времени уже дополненную. И сказал, что попробую это всё за несколько месяцев собрать. Эйснер не поверил ни одному слову, но рукопожатие, которым он меня проводил, было совсем другим. Весьма крепким. Хозяин усмехнулся.

— А меня вот так в клубе испанских эмигрантов однажды познакомили. Представили, говорят: «Рамон». Ну, я говорю: «Алексей». Пожали мы руки и расстались. А по-

том меня общий знакомый спрашивает: «А вы знаете, кому вы руку подали? Это Рамон Меркадер, убийца Троцкого!»

Хозяин не заметил, что я этой истории не удивился. Я не стал рассказывать, что подобный аттракцион за много лет до того был проделан со мной самим. Думаю, руку Рамону Меркадеру жать приходилось не только мне. Но не буду отвлекаться.

С помощью нескольких друзей, прежде всего Яна-Паула Хинрихса, пересмотревшего периодику в Лейденской библиотеке, а также американских профессоров Ю. П. Иваска и В. М. Сечкарева, за три-четыре месяца я и в самом деле кое-что собрал. Что-то мне прислали в письмах по листочку, что-то передали такими способами, о которых я поклялся никому и никогда не рассказывать (и клятву нарушать не намерен), но весной 1978 года пачка ксерокопий со стихами Эйснера (а уж заодно и Вячеслава Лебедева) у меня образовалась. Я позвонил и снова напросился в гости. Предупредил, что стихи немного подсобрал. Эйснер радостно сказал, что он никаких стихов не нашел, а вот материалы о себе кое-какие сможет мне дать. Заметим: о поэзии со мной говорить согласился.

Журналист Феликс Медведев пересказал со слов Давида Самойлова историю, как тот за блинами с водочкой у приехавшего умирать в СССР Антонина Ладинского познакомился с Эйснером и стал читать ему наизусть «Конницу». Как пишет Медведев: «Он прослушал и заухмылялся: “Ах, эти стишки-стишки, я их уже не пишу...”». Ладинский умер в 1961 году. Через двадцать лет я, насколько могу понять, говорил уже с совсем другим человеком. Ни про какие «стишки-стишки» и речи не было: к поэзии — и к своей в том числе — Эйснер относился весьма серьезно.

Ну, снова обменялись рукложатиями (не знаю, как хозяин, а я так всегда и вспоминал убийцу Троцкого, пожимая руку человека, по красивой легенде, пересказанной

С. С. Тхоржевским, *отказавшегося участвовать* в убийстве Игнатия Рейсса в 1937 году). Я выложил перед Эйснером обе пачки ксерокопий — стихи Эйснера в одной, стихи Лебедева в другой. Воцарилось долгое молчание, прерванное криком: «Восемь! Пора слушать “Свободу”, там может быть что-то важное!...»

Пятнадцать минут мы слушали глушилку, потом Эйснер с грустью выключил приемник: «Кто бы мог подумать, что из такого ярого коммуниста, как я, получится такой ярый...» Посмотрел на меня. Я дал понять, что продолжать не нужно. Слушание глушилок вместо новостей было в те годы нормой, что и отражено в знаменитой песне Александра Галича.

То, что мне удалось тогда насобирать в пражских журналах «Годы», «Воля России», в парижских «Современных записках», как раз и составило корпус книги, которую читатель держит сейчас в руках. Было еще одинокое стихотворение «Молчание», напечатанное в журнале «Новоселье» в 1942 году, притом в Нью-Йорке, — в это время Эйснер уже давно отбывал свой срок на Воркутлаге.

— А это разве мое? — спросил Эйснер.

— Вам лучше знать...

— Но как это могло туда попасть? Кто-то увез с собой?..

— Если вы были знакомы с Софией Юльвной Прегель, то наверняка, — она это «Новоселье» как раз издавала.

— Конечно, я был с ней знаком! Так вы думаете, я ей это отдал? Да, что-то припоминаю, что-то у меня такое было...

Хозяин дома постучал пачкой ксерокопий по столу, приложил к ней уже известную страницу с «Жемчужиной».

— Послушайте, а вы могли бы мне это оставить?

— А я вам и принес. Но есть еще более ранние публикации: в сборнике двадцать третьего года, который выходил в Сараево, тоже что-то ваше есть...

Хозяин прижал бумаги к груди.

— Ой, только вот этого не надо! Я тогда писал безумно плохо! Помню, что там я в каком-то рукописном сборнике напечатал — на машинке, конечно, — поэму про... льва. И... больше ничего не помню. Но поэма была из рук вон плохая! И еще про Ярославну я что-то писал... Нет, то, что я писал в корпусе, — это все-таки давайте забудем. Ну, собрали вы всё это, всё равно это никому не нужно, спасибо, конечно, — но вот эти самые ранние стихи, очень вас прошу, если найдете, то уничтожайте, не хочу сгорать со стыда. Давайте я всё это разберу и перечитаю, а потом приходите ко мне — мы вместе решим, что тут мое, что не мое... А все-таки если что-то было у меня, вот как талант бывает, — это дар, сказать точно и коротко. Вот: «Человек начинается с горя!».

Спорить было невозможно, кошмарную «Ярославну» 1923 года я оставил в портфеле, а «Льва» так никогда и не нашел. При следующем визите к Эйснеру я не только забрал у него исправленные ксерокопии, но и записал его голос: он прочел «Дон-Кихота», «Надвигается осень...», «Конницу». Много лет спустя оказалось, что записей голоса Эйснера — на несколько часов, но везде он говорит о Цветаевой, об Испании, о Хемингуэе, о чем угодно, даже и Цветаеву читает, — никто, кроме меня, не догадался записать его чтение собственных стихов. Заслуга, надо сказать, небольшая, но все-таки на каждом вечере памяти Эйснера неизменно звучит эта пленка. Хочется верить, что будет она звучать и на вечере, посвященном столетию со дня рождения Эйснера, — и мне совершенно безразлично, кто будет его проводить. Я делал свое дело там и тогда, когда его еще можно было сделать.

О пражском, самом плодотворном периоде творческой биографии Эйснера, об участии в «Ските поэтов» и «Далиборке», о литературных друзьях (В. Лебедеве, В. Федорове, В. Морковине, Э. Чегринцевой, Т. Ратгауз, А. Ту-

ринцеве, С. Рафальском, П. Лыжине и др.) и тем более о недругах можно бы написать многое. Но каждого из них надо сперва издать отдельной книгой, так что нетерпеливым читателям придется подождать. Хорошо уже то, что хотя бы некоторые до читателя дошли, хотя, за единственным исключением В. Г. Федорова, никто из них не собран полностью, не откомментирован, толком не издан. Да и с Эйснером пришлось ждать столетнего юбилея.

Забегая вперед, скажу, что после похорон Эйснера питерский прозаик Сергей Сергеевич Тхоржевский отдал сыну поэта, Дмитрию Алексеевичу, еще два стихотворения — «Корабли уплывают...» и «Прощание», написанные на Воркуте соответственно в 1946 и 1948 годах. Не считая этого дополнения, нынешняя книга А. В. Эйснера — это всё, что он считал «своим». В 1996 году музей Марины Цветаевой даже предпринял попытку издания такой книги, заказал мне предисловие, и я написал его... и уже не знаю, что помешало тогда изданию книги. Наверное, как всегда, денег не хватило. Да и не важно это. Важно то, что довольно точно соответствующая последней авторской воле поэта книга хоть и в рукописи, но была составлена Эйснером, была им и отредактирована. Моя роль оказалась чисто технической. Я не жалею и о том, что написанная в 1996 году моя статья об Эйснере куда-то канула. Сменился век, и можно уделить больше внимания поэзии, чем политике. Хотя биография Алексея Эйснера содержала в себе очень много политики и гораздо меньше, чем хотелось бы, поэзии, — особенно это видно теперь, когда «расстоянье уже измеряется веком».

«Вскоре отец стал киевским губернским архитектором, и до моих восьми лет мы жили в Киеве. В 1914 году мать развелась с отцом и вышла замуж за видного чиновника министерства финансов Владимира Александровича Подгаецкого, после чего моими опекунами стали дед и

отчим. Мать умерла весной 1916 года, и я остался на попечении отчима. Осенью 1916 года меня отдали в первый (по нынешнему третий) класс Первого Кадетского корпуса, в котором я проучился до его закрытия ранней весной 1918 года. В том же году отчим, украинец по происхождению, взяв меня, переехал в Киев, а оттуда отправил меня к своим родителям в небольшое имение бывшей Полтавской губернии. При последнем отступлении белых с Украины отчим заехал за мной и перебрался сначала в Ростов, а там и в Новороссийск. Во время эвакуации белыми Новороссийска отчим устроился санитаром на госпитальный транспорт «Херсон» и вместе со мной отплыл за границу. Из Константинополя, где ему удалось осесть, он отправил меня учиться в Югославию в русский кадетский корпус, который я и окончил с аттестатом зрелости в 1925 году. Той же осенью я перебрался в Прагу, где поступил на филологическое отделение философского факультета Карлова университета. В последних классах корпуса я стал писать стихи, а в Праге начал печататься сначала в русском студенческом журнале, а там и в литературной части левозсеровской «Воли России».

Для каких целей написал Эйснер эту менее подробную автобиографию — понятия не имею, но под ней есть дата: 10. XII. 1968 г. Советские танки уже вошли в Прагу. Во избежание вопросов: сейчас документы, которые я цитирую с разрешения наследника поэта, хранятся у меня.

Но тут как раз нужно вернуться к первой, недатированной автобиографии Эйснера: в ней мы находим важные детали.

«...в Прагу, где поступил на философский факультет Карлова университета экстерном, так как латыни не изучал. Невозможность для экстерна получить студенческую стипендию вынудила меня оставить университет, и летний сезон 1926 года я проработал чернорабочим на строитель-

стве. <...> В 1928 году я как подающий надежды поэт стал получать ежемесячную правительственную стипендию в размере 400 чешских крон». В автобиографии 1968 года Эйснер добавляет: «Под влиянием чтения советской литературы и советских газет я понемногу стал изменять воспитанным во мне убеждениям и к 1927 году пришел к сменовеховским позициям». Короче говоря, воспитанник кадетского корпуса Алексей Эйснер начал постепенно готовиться к переезду в СССР (понятия, конечно, не имея, что его там ждет дальше, кроме усыпанного шипастыми розами пути в коммунизм).

Между тем именно 1927–1930 годы – время наиболее активной литературной, критической и прежде всего поэтической деятельности Алексея Эйснера. Марк Слоним, некогда редактор «Воли России», пишет: «...В конце 1928 года мы устроили конкурс на рассказ приблизительно в полтора печатных листа. В жюри были я и М. Осоргин. Мы получили 94 рассказа, выделили из них 16 и половину опубликовали. Первая премия не была присуждена, вторую получил А. Эйснер за “Роман с Европой”, третью Н. Борин за “Жизнь Китаева”» (сб. «Русская литература в эмиграции». Питтсбург, 1972. С. 300). Помимо этого весьма известна в среде литературоведов статья Эйснера «Молодые зарубежные поэты» («Воля России». 1928. № 6), где автор двумя словами буквально стер с лица земли Анну Присманову, но сумел разглядеть неординарные дарования Бориса Божнева и Бориса Поплавского. Наконец, *вынужденно пользуется широкой известностью* (не могу иначе сформулировать) объемистая работа Эйснера «Прозаические стихи» («Воля России». 1929. № 12): на многих страницах доказывал в ней автор читателю, что Бунин не просто плохой поэт – он вовсе не поэт и зря на звание поэта посягает. Самые мягкие из выражений в этой статье и то как-то неудобно нынче цитировать («...техническое слабо-

силе Бунина — совершенно безнадежное», «Бунин не владеет стихотворной формой» и т. д.). Хорошо бы эту статью забыть и не вспоминать, как рукопожатие Рамона Меркадера. Но не удается.

В берлинской газете «Руль» (29 января 1930 года) Эйсеру не очень большой, но до обидного смешной статьей «На красных лапках» ответил В. Сирин, он же, как давно уже знает российский читатель (даже по школьной программе!), — Владимир Набоков. Стоило Эйсеру ополчиться на неизвестное ему слово «астрал», попавшееся в стихах Бунина, будущий автор «Лолиты» напомнил, что слово это не только есть в словаре русского языка, но что «один из видов астрала зовется розгой». Лучше уж не цитировать статью Набокова, она общедоступна, ибо опубликована в пятитомнике русского собрания сочинений Набокова издательства «Симпозиум» (М., 1999. Т. 2. С. 681–683).

Свидетельствую, что если Эйсер и не изменил своей точки зрения на стихи Бунина, то во всяком случае победой свой конфликт с Набоковым (а через него — с Буниным и с высоко ценившими стихи Бунина Ходасевичем, Степуном, Тэффи, даже с Блоком) не считал. В 1930 году Эйсер переехал в Париж, где вскоре совершенно забросил литературу, единственный, кажется, раз напечатав в журнале «Современные записки» свое прославленное «Надвигается осень. Желтеют кусты...». В не полностью сохранившейся автобиографии Эйсер пишет, что в Париже он «на несколько лет превратился в профессионального мойщика витрин, делившего свободное время между церковью и коммунистическими митингами. В 1934 году я вступил в Союз возвращения на родину и оформил документы, необходимые для получения визы на въезд в СССР. Осенью 1936 года я отправился добровольцем в Испанию, где начал рядовым бойцом польской роты Тельмана, а позже был назначен адъютантом командира XII интербрига-

ды генерала Лукача (Матэ Залка). После его смерти меня перевели на линию советской советнической работы в штаб XIV армейского корпуса. В апреле 1938 года я был откомандирован в Москву, но въездную визу получил лишь в декабре 1939 года. Вскоре после приезда в СССР и зачисления в ряды РККА в звании капитана меня (22 апреля 1940 года) незаконно репрессировали».

Оригинально отпраздновал семидесятилетие со дня рождения великого Ленина поэт Алексей Эйсер, что тут добавить. Обычно во всех анкетах Эйсер продолжал рассказ о своей жизни с 1956 года, со дня реабилитации, словно и не было в его жизни шестнадцати лет тюрем, лагерей, ссылок. Однако в 2002 году в Санкт-Петербурге вышла книга С. С. Тхоржевского «Открыть окно» с подзаголовком: «Воспоминания и попутные записи». Сергей Сергеевич Тхоржевский, внук знаменитых переводчиков Беранже Ивана и Марии Тхоржевских (печатавшихся под псевдонимом «Иван-да-Марья»), племянник весьма знаменитого поэта и переводчика, эмигранта Ивана Ивановича Тхоржевского, был арестован в шестнадцатилетнем возрасте, в 1944 году в Ленинграде, где пережил блокаду, затем на многие годы попал в лагерь за Полярный Круг. Там жизнь свела его со многими интересными людьми — и с Алексеем Эйсером тоже.

В книге воспоминаний Тхоржевского Эйсеру посвящена отдельная, поистине драгоценная глава. Ничего такого сам Эйсер в семидесятые мне уже не рассказывал, так что передам слово свидетелю.

«В одном бараке с Алексеем Владимировичем я прожил более трех лет. Он был единственным коммунистом, какого я встречал в лагере — единственного, кто открыто высказывал там свои взгляды. <...> Эйсер отличался от остальных уже тем, что его представления о советской власти сложились не в Советском Союзе, а за границей.

Испанская война оставалась ярчайшим событием в его жизни — столь ярким, что всё остальное существовало как бы в ее тени. Испания была для него меркой, точкой отсчета. Но в лагере, на Воркуте, он оказался в окружении людей с иной жизненной меркой, с острой памятью о совершенно других событиях, людей, у которых в сталинское время жизнь пошла под откос. В лагере патетические восхваления сталинского курса не могли не вызвать сомнения в искренности восхваляющего. От Эйснера многие попросту отшатывались, круг его друзей в лагере был узок, но Эйснер меньше всего стремился слиться с окружающей средой.

Когда мы познакомились, он был инструктором учебного комбината шахты № 8 (читал новоприбывшим заключенным техминимум по работе в шахте). Как инструктор он имел привилегию занимать в бараке учебного комбината отдельную кабинку, в ней помещались койка, табуретка и маленький стол. В этой кабинке он писал — таясь, разумеется, ибо никакой писанины заключенному иметь при себе не разрешалось, — роман в духе Пруста. Роман о своем детстве. В очень замедленном ритме, с предельно укрупненными подробностями. Роман этот, видимо, помогал ему отвлекаться от горьких мыслей о собственной сломанной жизни и об окружающей действительности...<...>

Рукопись романа постепенно разбухла. Если б Эйснер его завершил, получился бы увесистый том. А в 1948 году автор окончил восьмилетний срок заключения, был отправлен по этапу в Казахстан — и рукопись романа сохранить не удалось... Потом он и не пытался восстановить по памяти утраченный текст».

От себя замечу: тем же 1948 годом датированы и последние оригинальные стихотворения Эйснера. Их было больше, почти все они были посвящены Елене Ивановне Меленевской. И то хорошо, что хотя бы четыре стихотво-

рения сохранились. А пропавшего романа жаль, конечно, но история литературы во многом состоит как раз из таких потерь. Часть этого романа («Блудный сын») Эйсер все-таки восстановил. Но... дальше Цветаева всё правильно сказала, ее слова вынесены в эпиграф.

Надо бы процитировать тут воспоминания С. С. Тхоржевского об Эйснере целиком, но у поэтической книги иные цели. Интересно отметить: Эйсер и Тхоржевский встретились на свободе в 1963 году, и, как пишет Тхоржевский, «передо мной был человек, испытывавший крушение прежней веры. Уже никакого оправдания «культу личности» и репрессиям минувших лет он не мог и не пытался найти».

Тхоржевский много пишет и о знакомстве Эйснера с Цветаевой – о котором знал не только со слов друга по лагерю, но и из опубликованных в Праге писем Цветаевой к Тесковой, – и о дружбе Эйснера с советскими резидентами в Париже: они, кстати, надолго вызвали раздраженное отношение к нему в среде русской эмиграции. Широко известна и история с книгой Эйснера «Двенадцатая интернациональная» – сокращенный текст был напечатан в «Новом мире» (1968. № 6. С. 70–203), книга была переведена на испанский язык и вышла в Испании отдельным изданием еще при Франко. История же сводилась к тому, что книжный вариант «Двенадцатой интернациональной» в издательстве «Советский писатель» сперва несколько лет увечили, потом откладывали в планах, потом, наконец, отпечатали... а там и засомневались: кто его знает, «может, гений он, а может, нет еще?». Словом, весь тираж непереpletенной книги пошел под нож, однако великая, давно известная сила России (основанная на том, что в ней всегда и всё *крадут*) помогла и на этот раз: некоторое количество экземпляров было из типографии украдено и вручную сброшюровано. Один из таких экзем-

пляров, недешево продававшихся на «толчке» у книжных магазинов Кузнецкого моста, попал к автору. Эйснер с гордостью мне его показывал. Но и этот случай для истории советской эпохи — почти ординарный. А в нормальном виде книга вышла лишь в 1990 году, да и то после того, как вдова поэта обратилась с письмом к А. Яковлеву.

Если быть точным, то в СССР Эйснер печатался еще до войны (1938, журнал «Знамя» — там была подборка воспоминаний о генерале Лукаче, отвели место и для воспоминаний Эйснера). В 1957 году публикации возобновились, а с 1962 года только что, по случаю «кубинской революции», образованная в издательстве «Художественная литература» (тогда еще «Гослитиздат») редакция стран Латинской Америки (она же издавала книги испанских и португальских авторов) понемногу стала привлекать Эйснера к работе как поэта-переводчика. Очень понемногу. И из того, что ему заказывали, вовсе не на всё хочется теперь смотреть. Однако поэтический перевод — неотъемлемая часть собственно поэзии, к тому же не одни коммунистические гимны там печатались: если выходил Федерико Гарсиа Лорка, то Эйснера хотя бы приличия ради тоже звали сделать два стихотворения. Поэтому в нашей книге мы воспроизводим несколько переводов Эйснера, выполненных и опубликованных в 1960-е — 1970-е годы.

В конце семидесятых, общаясь с Эйснером и лоя неизвестно для какого будущего крохи информации, я спросил его — бывало ли желание писать стихи уже теперь: когда он гордо сознался мне, что в 1905 году имя ему было дано в честь наследника престола, когда он сменил политические убеждения на... ну, скажем, близкие моим, когда мы вдвоем сидим, слушаем глушилку вместо радиостанции «Свобода» (и вполне по Галичу этим утешены — стало быть, *есть что* глушить), — хоть изредка, но писать? Ведь занимается же он поэтическим переводом?

Эйснер замахал обеими руками.

— Что вы! Помилуйте, и прежде-то никому не нужно!

— Точно не нужно? Вы уверены?

Эйснер долго молчал.

— Не знаю. Мне — уже не нужно. А если кому-то мои прежние стихи нужны, пусть он их и печатает.

К этому времени рукопись сборника «Человек начинается с горя» была им уже выправлена. После смерти поэта экземпляр моей же машинописи с авторской правкой я получил от вдовы поэта, И. Ф. Рековской, и его сына — Д. А. Эйснера, от них же я получил и стихи, сохранившиеся у С. С. Тхоржевского. Много позже к этой рукописи прибавились только избранные переводы.

Мне не хочется останавливаться тут на «всем остальном», что сделано, написано и рассказано Алексеем Эйснером, не хочется анализировать его судьбу, смену убеждений от монархизма к евразийству и далее чуть ли не на триста шестьдесят градусов, как выразился Тхоржевский. В жизни он действительно был скорее человеком устной речи, нежели письменной, стихи доносят до нынешнего читателя лишь малую часть того, чем он был. Узнав, что меня не интересует ни Хемингуэй, ни Цветаева (было и без меня кому ими заниматься), он тут же вспоминал, что — да! — он открыл мне Вячеслава Лебедева. И начинал рассказывать о нем, о женитьбе Лебедева, о его инвалидности, о чем угодно, лишь бы не о своих стихах...

У иных авторов вклад в поэзию обратно пропорционален количеству написанных ими поэтических строк. Что-то не припоминаю в русской поэзии XX века никого, к кому эти слова можно было бы применить так точно, как к Алексею Эйснеру.

Евгений Витковский

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Шимми	3
«Близок к миру час заката...»	4
«Стихает день, к закату уходящий...»	5
Возвращение	7
Дон-Кихот	9
«В тот страшный год протяжно выли волки...»	12
Бумажный змей	14
Глава из поэмы	15
Конница	19
Цирк	25
Разлука	29
Бесчувствие	30
Воскресенье	31
Из поэмы «Суд»	32
«Надвигается осень. Желтеют кусты...»	38
Молчание	39
«Корабли уплывают в чужие края...»	40
Жемчужина	42
«Было всё. На всяческие вкусы...»	45
Прощание	46

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ИСПАНСКОГО

Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936)

Потемки моей души	48
Недомогание и ночь	49

Луис Льоренс Торрес (1878—1944)

К Пуэрто-Рико	51
---------------------	----

Рауль Гонсалес Туньон (1905—1974)

Потерянная дивизия	52
Эпитафия первому убитому волонтеру	53

Либер Фалько (1906—1955)

Биография	54
-----------------	----

<i>Е. Витковский.</i> «Расстоянье уже измеряется веком...» ...	55
--	----

Эйснер А. В.

Э34 Человек начинается с горя: Стихотворения разных лет. 2-е изд., испр. – М.: Водолей Publishers, 2005. – 72 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 5-902312-62-0

В книгу вошли практически все сохранившиеся оригинальные стихотворения и избранные переводы Алексея Эйснера (1905–1984) – поэта, никогда не издавшего поэтической книги, друга Цветаевой и Эренбурга, участника Гражданской войны в Испании и узника сталинских концлагерей.

Книга выходит к столетию со дня рождения поэта.

ББК 84Р7-5

Эйснер Алексей Владимирович

Человек начинается с горя

Стихотворения разных лет

Литературно-художественное издание

Технический редактор А. Ильина

Корректор В. Резвый

Подписано в печать 14.04.05. Формат 60x90/32

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль

Печать офсетная. Печ. л. 2,25

Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б

тел. (095) 786-36-35. E-mail: agathon@humanus.ru

Отпечатано в ИПП «Гриф и К°»,

г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а

